

# Настоящий пушкинист



*Памяти литературоведа Валентина  
Непомнящего, ушедшего несколько  
дней назад*

Первые работы Валентина Семеновича Непомнящего (1934-2020) увидели свет в начале 1960-х. Первая книга – «Поэзия и судьба» – появилась двадцать лет спустя, в 1983-м. Открывалась она опубликованной в 1965 году статьей «Двадцать строк». Это композиционное решение было мотивировано отнюдь не биографически: Непомнящий вовсе не хотел поведать о пройденном им пути; даты под следующими далее главами «наползают» одна на другую, «общность» их куда нагляднее, чем движение авторской мысли. Которая, разумеется, с ходом времени эволюционировала (может, и довольно существенно), но в главном оставалась себе равной. Не было помещению давней работы в зачин связано и с «историей объекта». «Двадцать строк» – прочтение одного из *последних* созданий человека, с постижением двуединства поэзии и судьбы которого была связана вся жизнь Непомнящего. Наконец, но не в последнюю очередь: в этом ходе не было ничего экстравагантно завлекательного: мол, начнем с конца, дабы яснее увидеть все предшествующее.

Много лет назад (примерно в пору издания «Поэзии и судьбы») мне рассказали весьма выразительную историю. Некто спрашивает у Непомнящего, что он собирается читать в отпуске. И слышит:

Я всегда и везде читаю одну книгу – «полный» однотомник Пушкина.

Надо быть совершенно гротескным дураком, чтобы с «фактами в руках» опровергать это признание: нет, Непомнящий был основательно знаком со Священным Писанием, творениями Софокла, Данте и Шекспира, Достоевского и Толстого, Блока и Ахматовой и даже весьма многих своих современников! Конечно, В.С. много кого читал – и дай нам Бог обретаться близ уровня его «начитанности». Но в ответе на «бытовой» вопрос явственно слышится не только искрометная и добродушная шутка (о чем речь? – про меня и так заранее «все известно!»), но и самая настоящая правда. Отзывающаяся иной – уж точно не подразумевающей оговорки или опровержений: Непомнящий всегда и везде писал одну книгу – о Пушкине. Не о творческом пути Пушкина, не о его отношениях с предшественниками, современниками и потомками, не о его философских, эстетических, религиозных, политических и еще каких-нибудь воззрениях, даже не о «Евгении Онегине», «Борисе Годунове», «маленьких трагедиях», «Повестях Белкина», «Пророке» и «Памятнике» – просто о Пушкине. Который, конечно, откликался на «всё», эволюционировал, спорил с самим собой, кому-то благодарно наследовал, чье-то явление миру предсказывал и обуславливал, но при всей своей подвижности и «объемности» оставался собой, Пушкиным. В равной мере превышающим даже самые глубокие истолкования и жизненно необходимым каждому. Непомнящий мыслил о Пушкине именно так, а обнаружив «иные варианты» отношения к своему – по слову самого Непомнящего – учителю, страстно гневался либо поистине сокрушенно печалился. Если бы в далеком 1859 году Аполлон Григорьев не написал «...Пушкин – наше всё...», формула эта непременно возникла бы в той десятилетиями строившейся и внутренне единой «книге», автор которой стал героем приведенного выше «анекдота». Анекдота, что, как кажется, неплохо бы смотрелся в пушкинских Table-talk.

Впервые фамилию «Непомнящий» я услышал десятиклассником, осенью 1973 года (то есть примерно через десять лет после дебюта В.С. и за десять лет до обнародования «первой редакции» его «длящейся» книги). Прозвучала она как синоним слова

«пушкинист», точнее – «единственный на сегодня настоящий пушкинист». Нет нужды объяснять, что дело обстояло решительно иначе, и называть имена замечательных (да и великих!) ученых, чьи работы 1960-х – начала 70-х гг. по сей день законно почитаются классическими и лично мне более, чем просто дороги. Всё так. Но высокая легенда о Непомнящем не была случайной. Для ее возникновения имелось три причины. Две «частных». Во-первых, никто из работавших тогда выдающихся литературоведов не был *только пушкинистом*. Во-вторых, Непомнящий не был тем, кто обычно именуется *ученым*. (Годы спустя, обретя докторскую степень, работая в академическом институте и возглавляя при нем «пушкинскую комиссию», В.С. не в одном интервью говорил: *я не ученый*. И это не было ни смирением, паче гордости, ни кокетством.) Соединение ощутимо *личной* (это значило: и свободной от идеологических догм, и естественной) интонации и внимания к *одному* творцу (и прежде почитавшемуся больше и иначе, чем другие) отвечало общественной потребности в *герое с человеческим лицом*. Превращение Пушкина из отвлеченно правильного (дозволенного, хоть и с некоторым количеством «разъяснений») «классика» в живого, доброго, мудрого, но открытого (доступного) нам собеседника предваряло назревающее новое открытие всей «русской литературы», приобщавшей разом к «вышим ценностям» (сперва – этическим, потом и «духовным»), поэтической свободе (реабилитация самоценного искусства) и национальной традиции. Не то чтобы Пушкина прежде не любили вовсе (кто-то очень даже любил!), но любовь к нему в «советском поле» до поры оставалась, скорее, «личным делом» отдельных чудаков.

Один из них, «с незаметным лицом в порядке обтрепанном пиджаке», летом 1965 года вдруг обратился к молодому человеку, поджидавшему приятеля на площади Пушкина: «...может, вы знаете, что он сказать хотел вон теми словами – на памятнике написаны: “И милость к падшим призывал”?». Спрошенный, волею судеб, оказался автором только что опубликованной статьи «Двадцать строк». «Совпадение так меня поразило, что я не сразу смог собраться и довольно косноязычно изложил то, что говорилось в

этой статье о пушкинской “милости к падшим”, об общечеловеческом, нравственном, – а не только политическом, как обычно тогда считалось, – смысле этой строчки, призывающей к терпимости и милосердию». Думается, что В.С. этим не ограничился. Ведь в статье сказано:

«...нет никакой свободы – ни политической, ни духовной – без человечности и сострадания <...>

И потому строка о «милости к падшим» имеет еще один важный смысл. Она говорит о том, что Пушкин видел жизнь, как она есть, понимал ее собственные законы и потому относился к своим героям – даже «падшим» – по-человечески...». И едва ли В.С. умолчал о том, как четыре строфы связаны с пятой, о том, что поэт «пробуждает добрые чувства, восславляет свободу, призывает милость к падшим», потому, что муза его послушна *Веленью Божьему...*

«Он (человек из толпы. – А.Н.) слушал с великой серьезностью, сосредоточенно сдвинув брови и внимательно, чуть ли не недоверчиво, глядя мне то ли в глаза, то ли в рот. Потом потрянул головой и сказал:

– Точно... Вы извините, я-то и сам вот так чувствовал, только – откуда мне знать? Ну вот... значит, все верно...»

Встреча эта была сколь символичной, столь и судьбоносной. Не важно, прямо ли в тот летний день или несколько позже Непомнящий осознал свою миссию. Важно, что это произошло. Он стал выразителем того, что чувствовали или хотели почувствовать очень разные люди – как в потертых пиджаках, так и в куда более приличных одежках. Его поиск сливался с иными поисками Пушкина, а доверие к полноте пушкинского «смысла» – с доверием к пушкинистике *народной*. Не надо думать, что это определение предполагало непременно отсутствие образования вообще или даже образования филологического. *Народным* для Непомнящего было *верное* понимание Пушкина (не отвлеченное, а сказывающееся в собственно жизни), как Пушкин

был *идеальным* воплощением сути *народа* (мягко говоря, далеко не всегда являемой в каждодневной обыденной реальности).

Об этом Непомнящий писал свою единственную книгу – это была его поэзия и его судьба.

Нет сомнения, что разные страницы этой книги ныне воспринимаются с одним чувством – даже теми читателями, что когда-то видели в Непомнящем единственного настоящего пушкиниста. Но нет сомнения и в том, что разномыслие не может (не должно) отменять глубокой благодарности человеку, который всей душой желал приближения каждого из нас к Пушкину и делал для того все, что мог.

**Андрей Немзер**

